

- 16 См. Ricoeur P. "The Hermeneutical Function of Distanciation", in *Philosophy Today*, 17, 1973, p. 129–141.
- 17 См. Hufnagel E. *Einführung in die Hermeneutik*. Stuttgart 1976, S. 65.
- 18 *Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger*, Berlin 1966, S. 402.
- 19 Мнение, проливающее свет на влияние платонизма на гадамеровскую мысль, мы найдем у Фрюшона: Fruchon P. "Herméneutique, langage et ontologie. Un discernement du platonisme chez H.-G. Gadamer", in *Archives de philosophie*, 36, 1973, p. 529–568; 37, 1974, p. 223–242, 353–375, 533–571.
- 20 См. Staiger E. *Die Kunst der Interpretation*, Zürich 1955, p. 32–33.
- 21 "Герменевтическая рефлексия ограничивается обнаружением познавательных шансов, которые без нее не были бы восприняты. Сама она не представляет собой критерий истины" (*Replik zu Hermeneutik und Ideologiekritik*, Frankfurt a.M. 1971, p. 300 и *Kleine Schriften IV*, Tübingen 1977, S. 130).
- 22 По этому вопросу обратимся к тщательному исследованию Stricker G. *Kriterium tes aletheias in Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*. 1. *Philologisch-historische Klasse*, 1974, p. 51–110.
- 23 См. Krämer H. J. *Platonismus und hellenistische Philosophie*, Berlin 1971, S. 58.
- 24 Bollnow O. F. *Das Doppelgesicht der Wahrheit*, Stuttgart 1974; Lipps H. *Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik*, Frankfurt a.M. 1938; Simon J. *Wahrheit als Freiheit, Zur Entwicklung der Wahrheitsfrage in der neueren Philosophie*, Berlin 1978.
- 25 Ricoeur P. *La métaphore vive*, Paris, éd. du Seuil, 1975, p. 300 ss, 310 ss.
- 26 *Le conflit des interprétations*, Paris, éd. du Seuil, 1969, p. 284.
- 27 *Ibid.*, p. 79.
- 28 *La métaphore vive*, p. 300: "поэтические качества как переданные суть прибавление к структуре мира; они "истинны" в той мере, в какой они "свойственны", т. е. в той мере, в какой они прибавляют уместность к новизне, очевидность к неожиданности".
- 29 *La métaphore vive*, p. 387.
- 30 *WM*, 406; *IM*, 498; *La métaphore vive*, p. 252.
- 31 См. Ricoeur P. "Phénoménologie et herméneutique", p. 50: "То, что завладение не означает тайного возвращения высшей субъективности, может быть удостоверено следующим образом: если, тем не менее, истинно, что герменевтика завершается в самопонимании, надо исправить субъективизм этого предложения, говоря, что понимать себя — это понимать себя *перед* текстом (...) вещь из текста становится моей собственностью, только если я отрекаюсь от собственности на себя самого, чтобы позволить быть вещи текста. Тогда я обмениваю себя, собственного господина, на себя, последователя текста".

Перевод А. Палтаржицкой выполнен по изданию:  
Grondin J. La conscience du travail de l'histoire et le problème de la vérité en herméneutique // *Archives de philosophie*, 44, 1981, p. 435–453.

## «ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ВЫЗОВ» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕОРИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Каждая отрасль человеческого знания рано или поздно переживает "проверку на прочность" своих первооснов. Для исторической науки, насчитывающей более двух тысяч лет, такими проблемными неожиданно оказались 70-е годы XX в. По выражению Д. Харлана, наступил затяжной эпистемологический кризис, "поставивший под сомнение саму веру в неизменность и доступность прошлого, скомпрометировавший возможности исторического постижения и подорвавший нашу способность определять себя во времени"<sup>1</sup>. Это было порождено так называемым "постмодернистским вызовом"<sup>2</sup>.

Проникновение постмодернизма в историю было вызвано, по образному выражению Ф. Анкерсмита, "осенью западной историографии". Помимо роста постмодернистских тенденции в культуре современного мира, определенное влияние оказало то, что после 1945 г. история, происходящая на европейском континенте, больше не является мировой историей. Возникшая дискретность поля исторического знания вызвала образование несметного количества историографических направлений, в которых ученые и читатели запутались до такой степени, что, по мнению Анкерсмита, традиционная западная историография "покидает нас, отброшенная прочь". Она потеряла свое значение не из-за того, что легко и даже модно занимать антиисторическую позицию, но потому, что для понимания происходящих процессов традиционных подходов стало не хватать. По словам ученого, "история больше не является реконструкцией того, что случилось с нами на разных этапах жизни, она стала продолжающейся игрой с памятью о прошлом... Пришло время, когда мы больше думаем о будущем, чем исследуем наше бытие"<sup>3</sup>.

С этими размышлениями можно связать идею Г. С. Кнабе, указавшего на осознание в 1960-е гг. противопоставления между жизнью как объектом познания и наукой как средством познания. Последняя в силу внутренних условий своей организации неспособна познать все многообразие жизни. Как показал историк, "противоречие между наукой как средством исследования и "жизнью как она есть" как объектом исследования образует коренную апорию современного общественно-исторического познания"<sup>4</sup>.

Суть постмодернистского вызова состоит в следующем. Объектом атаки постмодернистов стали принципы получения информации об исторической реальности. Они утверждали, что между свершившимся событием и рассказом историка об этом событии стоит огромная дистанция, в ходе преодоления которой происходит такое искажение прошлого, что об его адекватном отражении вообще нельзя говорить. Исторический факт отражается в письменном источнике — *наффративе*, где он уже искажен из-за разной степени осведомленности автора текста, его субъективности и тенденциозности, наконец, из-за его преднамеренной лжи или искреннего заблуждения. Чем дальше отстоит само собы-

тие от его отражения в нарративе (например, в средневековье большинство хроник отделено от описываемых в них событий на несколько десятков, а то и сотен лет), тем выше *степень погрешности* данного отражения.

Однако искажения нарастают, когда к использованию нарратива приступает историк-интерпретатор. Во-первых, он выступает как бы *соавтором* текста, поскольку прочитывает его исходя из своей профессиональной подготовки, мировоззрения, исследовательских задач. И смысл, который он извлекает из памятника, может в значительной мере не совпадать с тем, который в него вкладывал создатель. Во-вторых, в принципе нет уверенности в *возможности адекватного истолкования* современным историком текста, написанного много столетий назад. В-третьих, даже если ученый сможет достигнуть максимального понимания текста, все равно последний будет стоять неодолимой преградой между историком и событием, которое он изучает. Поэтому постмодернисты утверждают, что прошлого как бы не существует, а есть представленное в дискурсе *информационное поле*, которое, собственно, и есть история. По выражению Хейдена Уайта, одного из главнейших теоретиков постмодернизма, история есть всего лишь "операция создания вербального вымысла".

Таким образом, как показано А. П. Репиной, в данном подходе объект познания трактуется не как что-то внешнее познающему субъекту, а как то, что конструируется языковой и дискурсивной практикой. Язык выступает не средством отражения и коммуникации, а главным смыслообразующим фактором, детерминирующим мышление и поведение. При этом постмодернистами "подчеркивается креативный, искусственный характер исторического повествования, выстраивающего неравномерно сохранившиеся, отрывочные и нередко произвольно отобранные сведения источников в последовательный временной ряд".

Данная апория является главным оружием постмодернистов, но оружием обоюдоострым. Лучше всего это показал Ф. Анкерсмит, отметивший, что логическую основу вышеприведенных построений можно свести к известному *парадоксу критянина*: "Все критяне лгут", но тогда тот, кто это сказал, и сам лжет, ибо он критянин! Трагедия постмодернизма как раз в том, что этот парадокс неразрешим. Для сторонников данного направления "историческая интерпретация прошлого сперва стала признаваемой, затем достигла идентичности с ним по контрасту с другими интерпретациями, причем они объявлялись тем, чем они были, на основании того, чем они не были". Постмодернистский взгляд вообще не обращен в прошлое, он просто несет другую интерпретацию прошлого.

Помимо всего вышесказанного, постмодернисты заострили давнюю проблему, задав вопрос: а в чем, собственно говоря, состоит *исторический факт*? Ведь любое событие можно представить как факт физический, химический, психологический и т. д. На долю истории, таким образом, остается только *толкование, поиск значения событий*. А оно, во-первых, всегда несет в себе значительный элемент произвольности, во-вторых, трудно поддается адекватному изучению, поскольку является тем же дискурсом.

Такая постановка вопроса наносит серьезный удар не только по истории, но по гуманитарному знанию вообще. Лучше всего эту опас-

ность сформулировал Джон Тоуз, заявивший, что постмодернистский вызов отрицает даже потенциальную возможность изучать "неопосредованные", объективно существующие объекты и процессы?

О разрушающем влиянии постмодернизма говорит и Габриэль Спигель, отмечая, что он сокрушил связь между словами и вещами, языком и внелингвистической реальностью, что означает уничтожение материальной подосновы словесных знаков: "Весь мир предстает как мир "смешанных браков" между словами и вещами, властью и воображением, материальной реальностью и лингвистическими конструктами". Ученый задается вопросом: если мы признаем правильность постмодернистского подхода (а опровергнуть его генеральные положения мы пока не можем), то "должны ли мы поверить в то, что наше представление о прошлом не более чем иллюзорно-реалистическое полотно, "познаваемая ложь", которой мы пичкаем себя и других, чтобы скрыть свой страх перед тем, что за этими полотнами может таиться непознаваемая правда человеческого опыта, не поддающаяся никаким попыткам постигнуть ее с помощью наших словесных построений?"<sup>10</sup>

Под влиянием постмодернистов и других новых направлений исследовательской мысли (в частности, микроистории) история все больше сближается с литературой. По удачному выражению Роже Шартье, историки осознали тот факт, что их дискурс, каким бы он ни был по форме, — все еще повествование, понимаемое в духе Аристотеля как "выявление интриги представляемых действий". И на их труды распространяются фундаментальные принципы всякого повествования, общие и для истории, и для беллетристики<sup>11</sup>. Во многом применением литературных форм изложения материала, гораздо более выигрышных для читателя, чем сухой стиль фундаментальной исторической монографии, и объясняется рост популярности постмодернизма. К тому же, как отмечено Тадеушем Буксинским, сторонники данного направления в своей критике предшественников буквально сыплют афоризмами, ироническими высказываниями, красивыми логическими парадоксами и даже анекдотами, чем привлекают читателя. Постмодернизм дарит чувство контроля над миром путем того, что автор и читатель как бы сами создают объекты своего изучения, творят историю, ощущают себя демиургами<sup>12</sup>.

Рост популярности постмодернизма Ф. Анкерсмит назвал "интеллектуальным алкоголизмом": в современной историографии получили распространение произведения, претендующие на то, чтобы быть "последним интеллектуальным глотком". Они обещают поднять нас до высот знания, но на самом деле приводят к состоянию хаоса, порожденному чрезмерной узостью специализации авторов и явным переизводством их сочинений<sup>13</sup>.

Распространению постмодернизма, как показала Г. И. Зверева, способствует его близость с методами когнитивных наук (дисциплин, сознающих себя в виде систем свойств и правил мышления, обработки информации — психологии, лингвистики, искусственного интеллекта). В них, как и в постмодернистском подходе к истории, "внимание исследователей сосредоточивается главным образом на специальном изучении процессов интеллектуального творчества, форм языка, письма и речи, вербальных и невербальных текстов и, в конечном счете, на саморефлексии как таковой"<sup>14</sup>.

С постмодернизмом тесно связана так называемая “*новая интеллектуальная история*” — течение в западной исторической мысли, в конце 1960-х — начале 1970-х гг. выросшее из стремления изучать проявления человеческой интеллектуальной жизни. Хотя оно гораздо шире по тематике и приемам исследования, все же большое место в нем, особенно в последние годы, занимает изучение *проблем историописания*, тесно смыкающееся с основными постулатами постмодернистов<sup>15</sup>. Сторонники этого направления образовали собственные организационные структуры: в 1994 г. основано Международное сообщество по интеллектуальной истории (International Society for Intellectual History), издающее журнал: “Intellectual News. Review of the International Society for Intellectual History”.

Показательно, что адекватного ответа на постмодернистский вызов пока не найдено. Даже такой признанный научный авторитет, как Роже Шартье, хотя и говорит о “замечательной жизнеспособности и прежней изобретательности” исторической науки, но в качестве доказательства ссылается на большие коллективные труды, общеевропейские серии, отклики на книги<sup>16</sup>, что само по себе ничего не доказывает — это *количественные характеристики*, они не содержат *теоретического опровержения* постмодернизма. Выход многотысячных тиражей вовсе не показатель уровня развития науки.

В ходе обсуждения сложившегося положения на XVIII Международном Конгрессе исторических наук была сформулирована позиция “третьего направления” (А. Стоун, Р. Шартье, Дж. Иггерс, Г. Спигел, П. Бурдьё): то, что история труднопознаваема, еще не означает, что реальность не существует. Есть и прошлое как объективная реальность, и дискурс как независимый исторический фактор. Выход представители данного течения видят в “конструировании социального бытия посредством культурной практики”, что позволит приблизить исследователя к адекватному прочтению источника и правильной реконструкции исторических фактов<sup>17</sup>.

По выражению Р. Шартье, история должна принимать в расчет “несводимость опыта к дискурсу”, или, по определению Пьера Бурдьё: необходимо не “выдавать за принцип практики агентов теорию, которая должна быть построена так, чтобы эту практику объяснить”. Шартье формулирует задачу исторической науки следующим образом: это отрасль знания, “имеющая целью выявить способ, каким действующие в обществе индивиды наделяют смыслом свои практики и дискурсы”<sup>18</sup>.

Подтверждение принципиальной возможности постичь этот способ Шартье видит в способности историков отличать фальшивки от подлинных источников. Следовательно, делает он вывод, “история доказывает, что продуцируемое ею познание вписывается в порядок знания, доступный контролю и проверке”<sup>19</sup>. Данный тезис можно подкрепить и другим возражением постмодернистам: средневековая литература не допускала плюралистических толкований, автор и последующие редакторы строго контролировались определенными правилами. Другое дело, что такие правила довольно трудно поддаются реконструкции. Но это отдельная исследовательская задача, решению которой посвящено недавно возникшее целое направление — *новая филология*<sup>20</sup>.

Г. Спигел утверждает, что ответить на постмодернистский вызов

можно только в случае решения проблемы *опосредования* (поскольку фундаментальным положением постмодернистов является замена парадигмы “исторические данные *суть отражение*” на другую — “исторические данные *суть опосредование*”). Из существующих подходов Спигел сосредоточивает внимание на определении Ф. Джеймисона, считавшего опосредование возникающим в дискурсе кодом (или специальной терминологией), который понятен и может использоваться для разных объектов и сфер бытия<sup>21</sup>. За развитие такого подхода ратует Франкфуртская школа, утверждающая, что “опосредование содержится в самом объекте и не является чем-то находящимся между объектом и тем, с чем он сравнивается”.

Но тогда, как это признает и сама Спигел, мы можем изучать лишь дискурсы (точнее, их иерархию), поскольку каждый объект уже несет в себе свое опосредование в виде характерного для данной эпохи дискурса. История представляется как история культуры (поскольку все ее проявления культурно детерминированы). Она оторвана от социального мира, поэтому Спигел предлагает изучать *социальную логику текстов* путем сложного анализа *социального места текста* (то есть *социально-пространства*, которое он занимает как продукт определенного социального мира и как *действующее лицо* в этом мире), сопряженного с анализом *дискурсивного характера текста как “логоса”* (то есть собственно литературного артефакта, состоящего из языка и требующего специального литературного анализа)<sup>22</sup>.

Сходную “социологическую поправку” к наиболее радикальным постмодернистским взглядам предложил Ф. Анкерсмит. По его мнению, их ошибка заключается в тезисе, что конечной инстанцией является текст. Но ведь текст всего лишь способен *быть о чем-то*, а прошлое может *просто быть*. Так что это — разные категории, прошлое “не умещается” в тексте. Историк, интерпретатор, по выражению Анкерсмита, на основе текстов “представляет прошлое”. При этом он должен решить проблему — *вскрыть* значение прошлого или *назначить* ему свое значение. Здесь возникает риск придать смысл тому, что в самой истории его не имело. Это происходит как раз из-за чрезмерного внимания к дискурсу — исследователь начинает описывать отношения между словами, вместо того чтобы решать свою задачу — изучать отношения между словами и вещами<sup>23</sup>.

Свое возражение постмодернистам предложил А. Данто. Он ввел понятие “*идеального хроникера*”, который описывает события в момент их свершения. Следовательно, свидетельства современников надлежит считать заслуживающими практически полного доверия, а отражение событий в поздних источниках требуется соответствующим образом анализировать, отыскивая в них следы “идеального хроникера”<sup>24</sup>. Данное понятие подверг критике П. Рот: он справедливо заметил, что “идеальный хроникер” в реальности не существует, поскольку фиксировать все подряд он не может, а критерии, *что именно* должен он вносить в свои заметки, оказываются самыми разнообразными<sup>25</sup>.

В весьма резком тоне постмодернистские построения были подвергнуты критике в специальном сборнике “Reconstructing History. The Emergence of a New Historical Society”. Возражения авторов статей (Элизабет Фокс-Геновес, Гертруды Химмельфарб, Рассела Якоби и др.) сво-

дятся к отстаиванию довольно традиционного постулата: постмодернизм подменяет изучение *реальной, социально детерминированной истории* исследованием субъективно трактуемого дискурса, который изучать надо, но только как вторичный исторический продукт. Особенно рельефно эти возражения представлены в работе Г. Химмельфарб, которая в качестве довода приводит полную невозможность изучать постмодернистскими методиками, к примеру, такое явление, как Холокост<sup>26</sup>.

Нетрудно заметить, что предлагаемые антипостмодернистские построения зиждятся на нескольких общих принципах. Это прежде всего склонность к материалистическому пониманию истории (будь то "*конструирование социального бытия посредством культурной практики*" Шартье или "*социальная логика текстов*" Спигел). Феномен дискурса признается, но это совмещается с верой, в чем-то даже мистической, в возможность отыскания в нем имманентной способности отражения реальности. Такие воззрения сопровождаются порой чуть ли не заклинаниями: "До чего ж мы докатимся, если признаем правоту постмодернистов?" Все инвективы последних торжественно отвергаются: по словам П. Рота, "позитивизм сам по себе является своим лучшим адвокатом"<sup>27</sup>.

Подобные высказывания стоит прокомментировать словами Г. Риккерта: "По какому праву принимаем мы, что исторический процесс вообще имеет какой-либо смысл? И какими средствами обладаем мы для его познания?". Еще в начале XX в. этот ученый высказал мысль, столь популярную сейчас, что "познание не может быть воспроизведением или отображением объектов, оно есть, скорее, преобразующее их понимание" — потому что любая действительность настолько сложна и многообразна в своих проявлениях, что любое высказывание о ней будет упрощением и схематизацией<sup>28</sup>. Эту особенность человеческого познания постмодернисты, безусловно, развили до абсурда, но не меньшей бессмыслицей будет ее полное отрицание, основывающееся на риторических восклицаниях, вызванных прежде всего страхом осознания простого факта, что значительное количество их так называемых научных построений являются лишь мысленными конструктами, слабо связанными с реальностью.

Место теории постмодернистов в истории аналогично солипсизму в философии: с позиций логики он неопровержим, но все знают, что он неправилен. Но если концептуального ответа постмодернистам так и не удалось сделать, то последние не смогли потеснить прикладную роль позитивизма и сходных с ним методик. В настоящей ситуации они *сосуществуют*: постмодернизм серьезно расшатал основы, но не сверг до конца традиционную историческую науку, а она не сумела найти достойного ответа, но, тем не менее, устояла.

Это обусловлено тем, что, критикуя своих предшественников, представители нового направления так и не смогли создать яркие образцы конкретно-исторических исследований по тематике своих идейных оппонентов — историков-традиционалистов. Как верно подмечено Г. И. Зверевой, постмодернисты занимаются темами, какие в традиционном историческом знании, как правило, не было принято обсуждать. Их работы тесно смыкаются с литературоведением<sup>29</sup>. Они носят в значительной мере элитарный характер и ближе к литературным произведениям, чем к традиционным историографическим жанрам, поэтому не могут составить реальную конкуренцию последним.

В то же время, как верно отмечает Спигел, "многие историки уже подняли перчатку и руководствуются постмодернистскими приемами на практике, даже если пока они и не высказали в полном виде свои теоретические послышки"<sup>30</sup>. В немалой степени это относится к российской исторической науке, где теоретические разработки постмодернистской теории практически отсутствуют. Осваиваются лишь западный опыт (например, в "Одиссее" за 1996 г. опубликованы материалы "круглого стола" и ряд переводов иностранных трудов по данной проблематике). Шагом вперед в его распространении является организация при РГГУ Центра интеллектуальной истории и основание нового периодического издания: "Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории". Хотя стоит оговориться, что российские сторонники "новой интеллектуальной истории" (лидером которых, безусловно, является А. П. Репина) придерживаются ее трактовки в самом широком смысле (всестороннее исследование творческой деятельности человека) и отнюдь не сводят ее лишь к поднятой постмодернистами проблематике<sup>31</sup>.

В определенном смысле увлечение постмодернизмом в России типологически вызвано теми же причинами, что обозначены в знаменитом "Постмодернистском уделе" ("*La condition postmoderne*", на русском языке эта работа вышла под заголовком "Состояние постмодерна") Жана-Франсуа Лиотара. По его словам, "упрощая до крайности, мы считаем "постмодерном" недоверие в отношении метарассказов"<sup>32</sup>. Под этим термином и его производными ("метаповествование", "метаистория" и др.) понимаются "*объяснительные системы*", организующие буржуазное общество и служащие для него средством самооправдания своего существования (религия, история, наука и т. д.). Таким образом, по Лиотару, постмодернизм является своеобразным вызовом основам современного мира.

В России вызов, брошенный главным принципам советского социалистического бытия в перестроечные и постперестроечные годы, завершился крахом всех привычных устоев общества, всех "*объяснительных систем*" (по определению Лиотара). Отсюда — и желание разрушить сами устои доперестроечного гуманитарного знания. Оно приняло достаточно своеобразные формы.

С русским историческим постмодернизмом обычно связывают творчество печально известного математика А. Т. Фоменко, основателя "*новой хронологии*". Во второй половине 1970-х гг. он выступил последователем академика М. М. Постникова, еще в 1967 г. реабилитировавшего идеи народовольца Н. А. Морозова об ошибочности всей хронологии мировой истории. Согласно взглядам Фоменко, большинство событий человеческой истории произошли после 960 г. и лишь часть из них — между 300 и 960 гг. н. э., то есть прошлое радикально укорачивалось, большинство событий античной и средневековой истории объявлялись вымышленными. Кроме того, математик пересмотрел трактовку многих событий русской и зарубежной истории, назвав хана Ватгя казачьим "Батькой", раздробив Ивана Грозного на четырех разных людей, одним из которых оказался Василий Блаженный, и т. д.<sup>33</sup>

Однако стоит усомниться в определении Фоменко как постмодерниста. С последним его роднит отрицание самих основ традиционной истории и только. Теоретические взгляды математика, подавшегося в ис-

торию, ничего общего с постмодернизмом не имеют, поскольку в его сочинениях историческая методология отсутствует как таковая. Работы Фоменко отличаются просто-напросто дикой безграмотностью и вопиющим дилетантизмом, их, скорей, стоит квалифицировать как “воинствующую глупость”, а не как достойное внимания исследование.

Впрочем, нельзя не признавать масштабное разрушающее влияние, которое Фоменко и его сторонники оказывают на историческое сознание общества. Порой высказываются подозрения, что феномен “новой хронологии” сознательно инспирирован заинтересованными лицами, обеспечивающими тиражирование довольно однотипных опусов Фоменко в массовом количестве и в роскошном полиграфическом оформлении.

Более серьезным оказывается влияние постмодернизма в отечественной медиевистической русистике. Это легко объяснимо, поскольку в западной науке он начал свое наступление тоже с медиевистики — в ней легче всего найти уязвимые точки в источниковедческих реконструкциях. Определенные симпатии к постмодернистским идеям обнаруживаются в монографиях А. А. Юрганова и И. Н. Данилевского. В их работах указывается на необходимость различать *то, что было, и представления* об этом древнерусских людей, которые нередко приобретали *характер самостоятельного исторического факта*.

Иллюстрируя эту мысль, Юрганов приводит пример: историками доказано, что события 1015 г., связанные с убийством Святополком Окаянным Святых мучеников Бориса и Глеба, развивались вовсе не по тому сценарию, что изложен в “Чтении...” Нестора об убиении страстотерпцев. Роли и Святополка, и Ярослава Мудрого, и Бориса могли быть совсем иными. Но *это не всегда важно*: в сознании средневекового человека версия Нестора о братоубийце Святополке и невинно убиенных его братьях *имела характер неопровержимого факта*. Именно он имел в русском средневековье системосозидающее значение для комплекса ценностей и представлений о прошлом своей страны. Но тогда возникает естественный вопрос: не является ли мифологизированной большая часть этих представлений, на основе которых уже в XIX—XX вв. ученые нового и новейшего времени сочиняют *свою историю Древней Руси*?<sup>34</sup>

При изучении источников, содержащих такие мифологизированные представления, нужно быть очень осторожным, поскольку справедливо замечание И. Н. Данилевского: “Большинство понятий, скрывающихся за терминами и фразеологизмами русских источников, остались не-вербализированными современниками. Это, в свою очередь, создает дополнительные трудности для аутентичного “перевода” ментальных установок древнерусского общества на метаязык современной исторической науки и их описания”<sup>35</sup>.

В работе Данилевского в наибольшей степени чувствуется влияние постмодернизма. Автор констатирует, что факты истории средневековой Руси в основном изучены, но к пониманию смысла событий мы при этом не приблизились. Главная проблема — “понимаем ли мы автора древнерусского источника”? По мнению ученого, “летописец, беседующий с нами, оказывается в положении миссионера, попавшего в страну неверных”. Он и его читатели вкладывают в одни и те же слова разное значение, при этом “почти невозможно установить, насколько далеки или близки транслируемый образ и воспринимаемый фантом: для это

го в подавляющем большинстве случаев отсутствуют объективные критерии сравнения”. В результате, как утверждает исследователь, “в большинстве случаев мы не понимаем даже того, что берем из летописного текста”<sup>36</sup>.

Данную позицию Данилевского трудно поколебать, так как постмодернистский взгляд на историю в принципе практически непроверяем. К тому же в ней много справедливого: к числу безусловных заслуг ученого надлежит отнести нанесенный им сильный удар по господствующей в нашей историографии “презумпции тождества мышления летописца и исследователя”<sup>37</sup>.

Последняя концепция, популярная у позитивистов, развилась из теории текста В. Дильтея. Согласно данному учению, мнение автора легко уяснить из его произведения, интерпретатор абсолютно единовременен со своим автором, их хронологическая дистанция совершенно условна<sup>38</sup>. Позже из этого положения вышло целое направление, утверждающее возможность понять любой текст и историческое событие современным человеком. В СССР и в современных российских академических кругах оно наиболее ярко представлено филологической школой академика Д. С. Лихачева, который говорил: “Мне представляется, что постановка вопроса об особом характере мышления средневекового человека вообще неправомерна: мышление у человека во все века было в целом тем же”<sup>39</sup>. Именно такие взгляды, как верно отметил Данилевский, и привели к кризису медиевистической русистики, когда стало ясно, что уверенность в своем понимании средневековья является не более чем иллюзией, ни на шаг не приближает нас к раскрытию смысла происшедшего в “темные века” русской истории, а многие присутствующие в историографии схемы и конструкты весьма условны.

В то же время надо подчеркнуть, что позицию Данилевского нельзя упрощать и сводить только к апологетике постмодернизма. На наш взгляд, она наиболее близка идеям Р. Шартя, Г. Спигел, П. Бурдые: то, что история труднопознаваема, еще не означает, что реальность не существует. Есть и прошлое как объективная реальность, и дискурс как независимый исторический фактор.

Данилевский также замечает, что нельзя говорить о “принципиальной невозможности адекватно понимать средневековые тексты”. По его мнению, выход — в “калибровке вопросов”, которые исследователь задает источнику, в подробном всестороннем сопоставлении текстов и взглядов историков на них. В результате возникает герменевтическая ситуация. Для ее преодоления необходим этимологический анализ лексики, контент-анализ текста с целью выявления лексико-семантической полей, лингвистическая герменевтика, определение смысла прямо или косвенно цитируемых автором источника текстов, изложение отдельных событий или сторон исторического процесса с точки зрения их психологической подоплеки, с описанием значений и смыслов, которые вкладывали их участники в свои поступки или которыми наделяли их современники (реально или в отображении, оставленном автором источника).

Правда, сам Данилевский склонен сблизить перспективы применения новых методик с развитием историко-антропологического подхода. Но надо заметить, что его книга — не антропологическая (исключая отдельные части)<sup>40</sup>. Методику автора стоит все же определять как гер-

меневтическую, с использованием достижений исторической науки по изучению нарратива, от постмодернизма до компаративистики.

Вопреки протестам многих апологетов позитивизма, ничего опасного в раскрытии мифологем русского средневекового источника нет, поскольку миф есть способ организации бытия человека, и человек только потому человек, что воспроизводит себя в мифе. Изучение этой стороны русской истории возможно через выделение категорий или понятий, адекватных мировоззрению средневековых людей, через попытку взглянуть на прошлое их глазами. И таким путем минувшее вполне познаваемо, мало того, только так и можно постигнуть его смысл.

В этом плане можно предположить, что усвоение некоторых постмодернистских методик изучения нарратива способно на современном этапе развития исторической науки в России сыграть и положительную роль. Сейчас в отечественной историографии сложилась довольно парадоксальная ситуация: отказ от марксизма как основополагающей методики, вместо того чтобы вывести русскую историческую мысль на новый виток развития, отбросил ее назад. Как очень точно замечено А. Л. Стрязов, "парадоксально то, что, пытаясь выйти из кризиса исторического знания, историки возвращаются к докризисной стадии описательности, "коллекционирования фактов" ... метафизический по сути анализ исторических объектов как стабильных и локальных ведет к фрагментарности исторического описания и объяснения, возвращает нас к атомистическому, ньютоновскому подходу, когда единая ткань исторической действительности распадается на разрозненные лоскуты отдельных фактов и эпизодов"<sup>41</sup>.

Вместо усвоения известных в мировой науке методик исторического познания отечественная наука почему-то прочно утвердилась на позициях позитивизма начала XX в. (чем объясняется, кстати, и необычайная популярность, особенно в образовательной сфере, работ русских историков-классиков (С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова и др.), переизданных в последние годы огромными тиражами). В данной ситуации исторический постмодернизм может сыграть роль раздражителя, который просто вынудит историков приступить к внедрению современных гуманитарных методологий и тем самым поможет преодолеть застой российской исторической мысли.

#### Примечания

1. Harlan D. Intellectual History and the Return of Literature // American Historical Review. 1989. Vol. 94. P. 881.
2. В настоящем очерке мы рассматриваем только проявления постмодернизма в истории, не касаясь его многообразного вклада в литературу, искусство, философскую мысль (как течение постмодернизм известен с середины 1950-х гг., хотя некоторые исследователи относят появление первых постмодернистских произведений к 1930-м гг. — подробнее см.: Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. С. 199–235; *его же*. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998; Лютаев Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998; Hassan I. Paracriticism: Seven speculations of the times. Urbana, 1975; Fokkema D. Literary history, modernism and postmodernism. Amsterdam, 1984; Jameson F. Postmodernism and consumer society // The antiaesthetic: Essays on postmodern culture. Port Townsend, 1984. P. 111–126; Hutcheon L. The Politics of Postmodernism. London, N.Y., 1989; *Idem*. A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. London, N.Y., 1990; McGowan J. Postmodernism and Its Critics. Ithaca; London, 1991; Best S., Kellner D. Postmodern

Theory. Critical Interrogation. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 1999; etc.

3. Ankersmit F. Historiography and Postmodernism // History and Theory. 1989. Vol. 28. N. 2. P. 149–152.
4. Кнабе Г. С. Общественно-историческое познание второй половины XX века, его типы и возможности их преодоления // Одиссей. 1993. М., 1994. С. 249–250.
5. White H. Tropics of discourse: Essays in Cultural Criticism. London, Baltimore, 1978. P. 82; см. также: White H. The Historical Text as Literary Artefact // The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding. Madison, London, 1982. P. 50–52; Frankel Cb. Explanation and Interpretation in History // Theories of History. London, 1959. P. 408–427; Scholes R., Kellog R. The Nature of Narrative. N.Y., 1966; Louch A. History as Narrative // History and Theory. 1969. Vol. 8; Braudy L. Narrative Form in History and Fiction. Princeton, 1970; White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. London, Baltimore, 1973; Metahistory: Six Critiques // History and Theory. 1980. Vol. 19; Buthrof H. The Readers Construction of Narrative. London, 1981; Ankersmit F. Narrative Logic: A semantic analysis of the Historian Language. Nijhoff, 1983; La Capra D. History and Criticism. Ithaca, N.Y., 1985; Wallace M. Recent Theories of Narrative. Ithaca, 1986; White H. The Content of Form: Narrative Discourse and Historical Imagination. London, Baltimore, 1987; Zagorin Cf. Historiography and Postmodernism: Reconstructions // History and Theory. 1989. Vol. 28; Ankersmit F. The Reality Effect in the Writing of History: the Dynamics of Historiographical topology. Amsterdam, N.Y., 1989;
6. Репина А. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей. 1996. М., 1996. С. 26.
7. Ankersmit F. Historiography and Postmodernism. P. 142, 145.
8. Об этом подробнее см.: White M. Historical Explanation // Theories of History. London, 1959. P. 365–370.
9. Toews J. Intellectual History after the Linguistics Turn // American Historical Review. 1987. Vol. 92. P. 901.
10. Снугел Г. М. К теории среднего плана: историописание в век постмодернизма // Одиссей. 1995. М., 1995. С. 213–214.
11. Шарфье Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения // Одиссей. 1995. М., 1995. С. 194–195.
12. Bukinski T. Essays in the Philosophy of History. Poznan, 1994. P. 20–21.
13. Ankersmit F. Historiography and Postmodernism. P. 138–139.
14. Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // Одиссей. 1996. М., 1996. С. 11.
15. О ней см.: White H. The tasks of Intellectual History // The Monist. 1969. Vol. 53. N. 4. P. 606–630; Dantton R. Intellectual and Cultural History // The Past Before Us: Contemporary Historical Writing in the United States. N.Y., 1980; Modern European Intellectual History. Reappraisals and New Perspectives / Ed. D. LaCapra, S. Kaplan. N.Y., 1982; The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding / Ed. R. Canary, H. Kozicki. Madison, London, 1982; LaCapra D. Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Languages. Ithaca; N.Y., 1985; The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding / Ed. R. Canary, H. Kozicki. Madison, London, 1982; Kelley D. Prolegomena to the Study of Intellectual History // Intellectual News. 1996. N. 1. P. 13–16.
16. Шарфье Р. История сегодня... С. 192.
17. Цит. по: Репина А. П. Вызов постмодернизма... С. 28, 31.
18. Цит. по: Шарфье Р. История сегодня... С. 198.
19. Там же. С. 204.
20. О ней подробнее см.: Nichols S. Philology in a Manuscript Culture // Speculum. 1990. Vol. 65. N. 1. P. 1–10; Wenzel S. Reflections on New Philology // Ibid. P. 11–18; Fleischman S. Philology, Linguistic and the Discourse of the Medieval Text // Ibid. P. 19–37.
21. Jameson F. The Political Unconscious Narrative as a Socially Symbolic Act. N.Y., 1982. P. 225.
22. Снугел Г. М. К теории среднего плана... С. 215–217.
23. Ankersmit F. Historical Representation // History and Theory. 1998. Vol. 28. N. 3. P. 206, 208–209.
24. Danto A. Narration and Knowledge. N.Y., 1985. P. 148–149.
25. Roth P. Narrative Explanations: The case of History // History and Theory. 1988. Vol. 27. N. 1. P. 8–11.
26. Fox-Genovese E. History in a Postmodern World // Reconstructing History. The Emergence of a New Historical Society / Ed. by Fox-Genovese E., Lasch-Quinn E. N.Y., Lon-

- don, 1999. P. 40–55; *Himmelfarb G.* Postmodernist History // *Ibid.* P. 71–93; *Jacoby R.* A New Intellectual History? // *Ibid.* P. 94–118.
- <sup>27</sup> *Ротб Р.* *Op. cit.* P. 3.
- <sup>28</sup> *Риккерт Г.* *Философия истории.* СПб., 1908. С. 7, 16, 55.
- <sup>29</sup> *Зверева Г. И.* *Указ. соч.* С. 23.
- <sup>30</sup> *Стигел Г. М.* *К теории среднего плана...* С. 219.
- <sup>31</sup> За возможность познакомиться с информацией о работе Центра выражаю искреннюю благодарность *К. П. Грушко.*
- <sup>32</sup> *Лиотар Ж.-Ф.* *Указ. соч.* С. 10.
- <sup>33</sup> Разоблачению построений Фоменко посвящена огромная литература, отраженная также на специальных сайтах в Интернете (с красноречивыми названиями: “Анти-фоменкизм”). Назовем лишь самые основные труды: *Пономарев А. А.* Когда Литва летает, или почему история не прирастает трудами А. Т. Фоменко // Информационный бюллетень ассоциации “История и компьютер”. 1996. № 18. С. 127–154; *Небовский М. Ю.* Иван Грозный был женщиной // *Родина.* 1996. № 5. С. 10–16; *Володихин Д., Елисева О., Олейников Д.* История России в мелкий горошек. М., 1998; *Данилевский И. Н.* Пустые множества “новой хронологии” // *Данилевский И. Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков. М., 1998. С. 289–313; *Золотарев А. Ю.* “Новая хронология” А. Т. Фоменко и ее критика // *Исторические записки.* Воронеж, 2000. Вып. 6. С. 248–260. См. также сайты: <http://univ2.omsk.su/foreign/fom> и <http://www.chat.ru/fatus/foma>.
- <sup>34</sup> *Юрганов А. А.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 4–5, 9–12, 21–26.
- <sup>35</sup> *Данилевский И. Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М., 1998. С. 7.
- <sup>36</sup> *Там же.* С. 5, 7, 11, 13.
- <sup>37</sup> *Там же.* С. 8.
- <sup>38</sup> Подробнее см.: *Dilthey W.* Die Entstehung der Hermeneutik // *Dilthey W.* *Gesammelte Schriften.* Göttingen, 1960. Bd. 5; *его же.* Введение в науку о духе // *Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.* Тракаты, статьи, эссе. М., 1987; *его же.* Наброски к критике исторического разума // *Вопросы философии.* 1988. № 1; *его же.* *Описательная психология.* М., 1912; *его же.* Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // *Новые идеи в философии.* СПб., 1912. № 1; о нем см.: *Vollnow W.* *Dilthey.* Köln, 1936; *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 267–292; *Кузнецов В. Г.* Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991. С. 54–65.
- <sup>39</sup> *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы // *Лихачев Д. С.* *Избранные работы в трех томах.* А., 1987. Т. 1. С. 331.
- <sup>40</sup> *Данилевский И. Н.* Древняя Русь... С. 7–8, 14, 16.
- <sup>41</sup> *Стризов А. А.* Принцип историзма и кризис исторической науки (социально-философские аспекты) // *Историческая мысль в современную эпоху.* Волгоград, 1994. С. 5.

Елена Трубина

## МЕСТА ПАМЯТИ, МОНУМЕНТЫ И “НОВАЯ” ДЕМОКРАТИЯ

Решение состоит именно в том, что мы должны о нем решить, в и для нашего мира, а потому прежде всего решить о “нас”, о том, кто есть “мы”, как мы можем сказать “мы” и называть себя *мы*.

Ж.-А. Нанси

### Введение

Мы есть то, что мы помним. Это в равной степени относится и к обществу и к индивиду. Однако в истории культуры достаточно рано было осознано, что память — нечто далеко не всегда подлежащее контролю, она текуча, ненадежна, изменчива. Опасаясь потерять над ней контроль, общества стали изобретать различные технологии ее сохранения.

В замечательной книге “Искусство памяти” (1996) Фрэнсис Йетс прослеживает складывание в древности различных технологий памяти, техник, используемых для запоминания<sup>1</sup>. Один из первых уроков классического искусства памяти она находит в трудах Цицерона и Квинтилиана. Чтобы запомнить речь, оратору предлагалось построить ассоциацию между избранной темой и местом в реальном или воображаемом пространстве, которое оратор считал наиболее подходящим для произнесения своей речи.

Этот исторический экскурс кажется мне интересным в нескольких отношениях.

Во-первых, от века искусство памяти тесно связано с местами памяти, *loci memoriae*<sup>2</sup>. О них пойдет речь позже, здесь же я хочу подчеркнуть следующее. В действии запоминания активное начало — субъект, это он для работы своей памяти вызывает на это место, и именно эта проекция делает данное место местом памяти. Вместе с этим важно и то, что возникает в *процессе* взаимодействия места и субъекта.

Во-вторых, памятные места сосуществуют с другими мнемоническими стратегиями, все сильнее зависящими от прогресса техники: от оральной культуры — к письменной, от портрета — к фотографии, от архива — к Internet...

В-третьих, фрагмент привлекает наше внимание к связи речи, т. е. текстов и мест, к связи памяти и текста, текста и места, текста и образа этого места, связи произнесенного (написанного) и видимого. Место не существует без посвященных ему слов, монумент невозможен без надписей.

Наконец, в-четвертых, Ф. Йетс говорит об ораторах. Афинская ли агора, римский ли сенат, европейский ли